



Наум
Вайман

ПОХВАЛА ЛЮБВИ

и с т о р и и
и п р и т ч и

А л е т е й я

Наум Исаакович Вайман

Похвала любви.

Истории и притчи

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63864507

Вайман Н. И. Похвала любви. Истории и притчи: Алетейя; Санкт-Петербург; 2021

ISBN 978-5-00165-197-0

Аннотация

Наум Вайман, известный писатель, автор дневниковой эпопеи «Ханаанские хроники», а также глубокий и неожиданный в своих выводах исследователь творчества Манделыштама («Черное солнце Манделыштама», «Преображения Манделыштама» и другие книги), поэт, переводчик, публицист, на этот раз предстает в новой ипостаси – как автор рассказов. По словам очень известного и авторитетного в российской литературе критика Ольги Балла: «Рассказы Наума Ваймана – почти притчи. А иногда, кажется, притчи вполне настоящие... Они – о границах, в которые упирается человек... о тоске по большой настоящей жизни, о ее недостижимости и тайной возможности. Тут, на самом деле, что ни история – то формула. И все – о самом существенном. Не только об уязвимости и беде – хотя тень их, кажется, постоянно следует за героями рассказов... Не

переставая быть притчами-формулами, эти истории конкретны до осязаемости, зримы до кинематографичности, каждая – почти сценарий».

Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

Любовь с первого взгляда	6
Юдофил	7
Химеры	48
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Наум Вайман
Похвала любви
Истории и притчи

© Н. И. Вайман, 2021

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021

* * *

Любовь с первого взгляда

– Ты же знаешь, что у меня никогда не было ни собак, ни кошек, я их терпеть не могу, а в эту пятницу я как всегда спустилась утром в свое кафе, выпить кофе с их фирменной булочкой, посмотреть почту и новости, в эту рань еще только открывают, и воздух даже летом еще свежий, и улицы пустые, сын хозяина поливает шлангом тротуар перед витриной, раскрывает зонты, переворачивает стулья, а он как раз собачник, и собаки его любят, всегда крутятся возле него, а в этот раз какая-то новая псина, я в породах не разбираюсь, лохматая такая, и вдруг подошла ко мне и села рядом, смотрит так... И я посмотрела ей в глаза, и знаешь, странная вещь, никогда со мной такого не было, какой-то вдруг «клик», как с человеком, какая-то вдруг неожиданная близость, как будто узнали друг друга. И она еще так голову наклонила... В общем, теперь каждый раз, как я заходила утром в кафе, она уже ждала меня, подходила к столику и садилась, или ложилась рядом. Меня это так тронуло, что я сказала Ади, сыну хозяина, странно, говорю, никогда я собак не любила и даже внимания на них не обращала, а эта так странно смотрит, как в душу заглядывает, и привязалась...

А он говорит: «Да она слепая».

Юдофил

«История не кормит, а убивает», – сказал отец, когда я вознамерился идти в Университет на исторический, и тут же перечислил сгинувших родственников, неосмотрительно вступивших на скользкую «идеологическую» стезю. «Хватит с нас историков», добавил он. А я зачитывался университетскими учебниками и хрестоматиями по древней истории, как романами.

Тяга к первоисточникам завела в лабиринт нелегальной торговли книгами. Здесь велась волнующая охота за объявленными и сразу исчезающими изданиями Светония, Плутарха, Тацита в «литпамятниках» или за раритетами «ACADEMIA» начала тридцатых (однажды мне достался «Макиавелли» 34-го года с предисловием Каменева и стал с тех пор одним из моих любимцев), за дореволюционными изданиями энциклопедий и классиков философии. В этой погоне за книгами было все: страсть открытий, вызов тоталитаризму, жажда приключений, пороки зависти, жадности и азарта, даже мелкая уголовщина, ибо в ход, кроме обычного и малоэффективного накопления средств, шли надувательства, кражи, карточная игра и любовные обольщения, и всё – ради сладчайшего из наслаждений: ты и книга поутру, в перекрученных простынях...

Как-то я наткнулся у Февра, в его «Боях за историю», на

обидный абзац: «Я люблю историю. Если бы не любил – не стал бы историком. Разрывая жизнь на две части, одну из них отдавая ремеслу, сбывая, так сказать, эту часть с рук долой, а другую – посвящая удовлетворению своих глубоко личных потребностей, – вот что кажется мне ужасным...». Отец тому же учил: сначала ремесло, а в свободное время – делай что хочешь. Согласно с ним в оценке текущего исторического момента – воспитал-таки потомственный пролетарий антисоветчика и махрового реалиста – я понуро отправился «приобретать специальность» в Электротехнический институт Связи, и получил «внутреннюю раздвоенность» по полной программе.

Униженный компромиссом, я возненавидел этот институт, кишевший жизнерадостными соплеменниками, увлекавшимися турпоходами и дозволенной задушевностью студенческой песни, и детьми военных, слегка фрондирующих на тему «роли армии в государстве» (опала Жукова была не случайной: дряхлеющий отец народов обезглавил победившую армию). Если бы не Вадим и еще два-три маргинала, не чуждых гуманитарных интересов, и поговорить было б не с кем. А поскольку я глубоко презирал «технарей», то и девицы в институте меня отталкивали: в их преданности учебе мне чудилось раболепие.

Но одна достойная внимания особа в институте все же была. Лена Харитоновна. Она училась на пятом курсе параллельного факультета и на «филодроме», огромном балко-

не на втором этаже, где на переменках собирался институтский бомонд покурить, позлословить, всегда была окружена стайкой поклонников, а на выходе из института ее частенько встречали уже совсем взрослые ухажеры, иногда на машинах. Трудно указать на что-то определенное в ее внешности, что объясняло бы причину такой популярности: красоткой она не была, впрочем, дружно утверждалось, что фигура – «классная». Мне она нравилась независимостью, тем, чего у меня отродясь не было, а ей, судя по осанке, походке, по улыбке – просто далось в наследство. Я глаз с неё не сводил.

На втором курсе розовые мечты перейти в Историко-Архивный (я жил ими весь первый курс) потускнели, от тоски я стал сочинять стихи, поселившись на последней парте и заглядываясь в окно, то на дождь, то на снег, то на листопад. Друг Вадим, который тоже «пописывал», беспощадно одобрял мои пробы пера, и, прогуливаясь по бульварам от театра Советской Армии до Рождественского монастыря с выходом в конце концов к Малому, мы читали друг другу стихи, делились сердечными тайнами, философствовали.

Стихи были все больше об осени («Осень медная, надменная, ведьма милая моя...»). Теперь, перечитывая, мне кажется, что их писал какой-то другой человек... «Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, мы меняем души, не тела». Вадим очень любил Гумилева, переписывал ходившие по рукам машинописные копии и эту «Память» («Память, ты рукою великан-

ши жизнь ведешь, как под уздцы коня, ты расскажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня») читал мне сотни раз, потому и запомнилось. Я Гумилеву не поклонялся: демонстративный романтизм отпугивал меня, романтика «в душе», как публичный дом – мечтателя-девственника, но Вадим декламировал его, особенно выпив, с таким вдохновением, порой со слезами, а слезы поэта, черт возьми, заразительны, что и я умилялся. Особенно трогало меня это: «Сердце будет пламенем палимо вплоть до дня, когда взойдут, ясны, стены... стены Иерусалима...» В этом месте мы уже не сдерживали дружных рыданий, только я «тайно», вместо «стены Нового Иерусалима» (здесь я слышал неправильный размер, да и руины Нового Иерусалима, куда я таскался к Тане на электричке, не будили во мне слезы «святой любви») повторял дважды слово «стены», шепча: «стены... стены Иерусалима...». Тем более что в стихотворении речь шла, конечно, о горнем Иерусалиме, а мне хотелось плакать о дольном. Так что мы рыдали дружно, но каждый о своем.

(А здесь осенью зреют на пальмах финики, и их могучие красные гроздья среди серых, иссушенных бесконечным летом, надломленных под тяжестью урожая ветвей, горят в вышине, в беспросветной лазури...)

Осень – мистерия смерти. Чтоб не забывали о том, что смерть – это всего лишь жатва. Не таков ли и труд историка? Когда тебе житейские бразды, труд бытия вознаграждая, готовятся подать свои плоды и спеет жатва дорогая, и в зернах

дум ее собираешь ты, судеб людских достигнув полноты...

В молодости смерть людей или увядание природы только подчеркивает победоносную силу собственной жизни. И любовные ритуалы особенно сладостно справлять осенью: целуешь румяную от холода деву, а под ногами похрустывают иссохшие жилы «багровых сердец», сброшенные с ветвей где-нибудь в Филях, или в Сокольниках. Осень – ритуал вечного возвращения. «И с каждой осенью я расцветаю вновь...» Природа нас утешает.

Стал ли я с тех пор меланхоликом? Нет, пожалуй. Но я меланхолию возлюбил.

Экклезиаст решил польстить меланхоликам насчет «сердце мудрых – в доме плача, сердце глупых – в доме веселия». Так-то оно так, однако, и у «веселия» своя мудрость. Веселые живут сегодняшним днем, а грустные вечно заглядывают в будущее или оглядываются на прошлое. Но мечтательность не мудрость, скорее, страх перед каждодневной жизнью, которая – как прогулка по брёвнам, сплавляемым по реке: каждый шаг грозит падением в хладную влагу Леты. Веселые любят всех, а грустные – только себя и потустороннее, к которому приводит мечта обрести незыблемое. Даже в женщине эти «узники плоти» ищут какую-то тайну, магию. Продление рода для них оскорбительно, они жаждут продлить себя. В вечность. Усилим творческой воли. «Горче смерти женщина, потому что она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее – оковы». Проклятый дуализм. Не иначе как едино-

божие поломало нам здоровую сексуальную жизнь.

Теперь я думаю, что русские – самый меланхолический народ, и русская словесность, та, старая, ядовито меланхолична. Для них и любовь к истории – лишь дань меланхолии. Нет в ней «пафоса Пути», как говаривал Петр Наумович, нет этой еврейской воли к обновлению. Даже среди евреев-русских поэтов меланхолия не господствует. Мандельштам торжественен. Крутая соль торжественных обид. А Пастернак и вовсе был оптимистом (хлёткое словечко), «сестра моя, жизнь» – более еврейского названия для книги не выдумаешь... Разве что Исаак Левитан вместе с осенним дымом наглотался тоски тусклых просторов.

Со временем, уже в Израиле, меланхолия у меня прошла. Усохла на этой жаре и потеряла вкус. Только запах остался, внезапный, головокружительный запах разбуженной памяти, гниющих листьев...

Как-то раз в солнечный апрельский день я поехал в Измайлово, где временно, после разгона на Пушкинской и около «Ивана Федорова» (власти, видно, решили взяться за книжный рынок), разместилась толкучка. Я искал Библию – пора было как-то прикрыть зияющую брешь в знакомстве с собственной историей и мировой культурой. Библия стоила минимум пятьдесят рублей, две стипендии, у меня была только двадцатка, но были книги на обмен; в крайнем случае, я был готов расстаться и с «кровными».

Толкучка расположилась по обе стороны протоптанной дорожки, вдоль которой еще чернели затвердевшие сугробы, сотни ног месили весеннюю грязь, поскользнувшись, кто-то иногда падал, вызывая короткое замешательство. Продавцы держали часть книг на газетках, расстеленных на подсыхших залысинах земли или на заледеневшем снегу, часть – под мышкой, а особо ценные – в глубоких внутренних карманах старых пальто, на такие мероприятия народ одевался непритязательно. Я ходил вдоль разложенных книг, как сладострастник на рынке невольниц: каждую мне хотелось потрогать, полистать, почитать. При этом я не забывал о цели своего визита. Наконец, один небритый и неряшливый иудей посоветовал мне обратиться к «собирателю иудаики», которого он сегодня видел на рынке, иудей вкратце описал этого «собирателя» и то место, где он его видел. И я действительно нашел там мужичка, соответствующего описанию: небольшого роста, лет шестидесяти пяти, аккуратно одет, без шапки, с коротким седым бобриком. Подмышкой он держал несколько книг, прижав их предплечьем. (Диалоги и другие подробности я восстановил по старому дневнику.)

– Извините, мне сказали, что вы собираете иудаику...

– Вам нужны книги по еврейской истории? У меня есть Грец, Дубнов, Ренан...

Сердце моё встрепенулось, но это всё были вещи по цене неподъемные.

– Собственно я ищу Библию.

– Библия есть только миссионерская (карманный формат с мельчайшим шрифтом, он-то и стоил полтинник), цена стандартная. Не здесь, дома. А на древнееврейском вам не нужно? – Он вскинул на меня иронический взгляд. – Есть роскошная.

– Если вы готовы на обмен, хотя бы частичный... – я пропустил его выпад насчет древнееврейского мимо ушей.

– А что у вас есть на обмен?

Мы все еще выясняли возможности сделки, когда на толкучку, внезапно, как ветер, налетела тревога облавы. Народ бросился по узкой протоптанной дорожке, толкаясь, падая, топча книги, «спекулянты» в панической спешке собирали товар со своих импровизированных прилавков, кидали в рюкзаки, распахивали по карманам, ныряя кто в толпу, кто в лес. Я видел, как книги падали в мокрый снег, беспомощно распахнувшись, нежными страницами в снег, сокровища, тут же затапываемые в грязь. Мы побежали вместе с «собирателем иудаики» – я все еще рассчитывал на сделку – он бежал бодро, не отставая, почти деловито, чему-то ухмыляясь при этом. Незаметно было, чтобы он испугался.

Только в метро мы смогли перевести дух и познакомиться. «Петр Наумович», – представился он и дал мне свой телефон.

В назначенный день, в семь вечера, с двадцатником в кар-

мане и Тютчевым 1913 года в сумке, я зашел по данному мне адресу, с удивлением отметив массивный сталинский дом с балконами на Проспекте Мира, просторное парадное и чистую лестницу. Каково же было мое изумление, когда дверь мне открыла Лена Харитоновна. В небрежно расстегнутой кофточке и брюках. Я подумал, что грежу. Она подняла брови, узнав одного из своих вздыхателей, и улыбка едва тронула ее губы.

– Извините... – промямлил я, – Петр Наумович... здесь живет?

– А-а, вы к бабушке? Его сейчас нет.

– Он просил меня зайти к семи...

– Но еще без четверти.

– Да, действительно... Я боялся опоздать, извините...

– Да вы заходите. Подождите его. Раз он сказал, что будет к семи, значит будет.

Большая гостиная, старая, добротная мебель, два могучих книжных шкафа, к которым меня невольно потянуло.

– Вы не в институте Связи случайно учитесь? – спросила Лена.

Я улыбнулся, обрадованный разоблачению.

– Понятно, – кивнула головой Лена и тоже улыбнулась.

Разговорились. Потом она предложила закурить, но я сказал, что не курю. Она удивилась. Чтобы показать, что я не такой уж пай-мальчик и книжный червь, я сказал, что из-за спорта, боксом занимаюсь. Это признание тут же показа-

лось мне самому хвастливым, и чтобы загладить это впечатление я стал скороговоркой рассказывать про нашего тренера Никифорова, какой он чудный старик, в 25-ом был чемпионом России в полутяжелом, да и сейчас еще, когда руку выбрасывает, лучше рожу не подставлять, а если ей интересно, то завтра в четыре в нашем спортзале будет матч с Энергетическим, первенство Москвы среди вузов, поскромничал (скромные знают, почему они скромны, говаривал Гете), что в сборную попал случайно: заболел наш постоянный, во втором полусреднем. Я как-то позабыл даже, что мне наверняка набьют морду (когда Никифоров предложил мне выступить, я даже думал отказаться – в сборной МЭИ мог попасться чуть ли не мастер спорта, а тогда – выносите мебель). Мое вдохновение прервал хлопок двери в прихожей. Через минуту в комнату вошел Петр Наумович, в распахнутой генеральской шинели, весь в орденах, как новогодняя елка, и немного подшофе. Щелкнув каблуками, он отвесил мне поклон. Я был совершенно поражен и застыл возле книжного шкафа. Лена помогала ему раздеться.

– Съезд уже кончился?

– Надоели они мне. Вот и сбежал, пока не споили. Русский генералитет! Тьфу ты, господи. Молчу, молчу. Ничего, я сам... А ты лучше чайку нам организуй, – прервал он неловкую паузу. – А мы пока с товарищем... Садитесь, – обратился он ко мне и достал из буфета вазочку с конфетами. – Угощайтесь.

– Нет, спасибо.

– Неужто сладкое не любите?

– Да не очень, – соврал я.

– А я так – уважаю. Ну, а... он достал треугольный графин с жидкостью вишневого цвета и постучал по нему ногтем, – если наливочки?

– Да нет, спасибо.

– Наливочка! Наша, семейная, с дачных угодий! Полрюмочки?

– Ну... – замялся я, улыбаясь. – Разве что полрюмочки.

– Так-так.

Он снял китель, хотел повесить на стул, но передумал и унес в другую комнату, видно, не хотел давить на меня наградами, я оценил его деликатность. Затем достал из буфета печенье и три хрустальные рюмки. Разлил вязкую, рыжева-то-красного цвета наливку.

– Ленка!

Лена расставила на столе чайный сервиз, мы сели втроем, подняли рюмки, все трое улыбались, только по-разному: я чувствовал себя ужасно неловко, Лена явно забавлялась, а дед что-то больно лукаво шурился.

– Ну, вы уже познакомились? С Наумом?

Он как-то особенно подчеркнул мое имя.

– Познакомились, – Лена улыбнулась еще шире и веселее. – Он, оказывается, из нашего института.

– Надо же! Интересно. А я вам еще полностью не пред-

ставился – Петр Наумович Харитонов, будем знакомы.

Мы взмахнули рюмками и выпили за знакомство. Наливочка оказалась крепкой.

– Из-за отчества меня в Академии евреем считали, – в упор, даже не хмыкнув, пальнул в меня генерал.

Как ни «приучай себя к мысли», все равно каждый раз вздрагиваешь, услышав роковое слово. О-о, я улавливал все тончайшие оттенки его произношения и сразу понимал, что имели в виду, когда говорили «еврэй», или «евв-рей», или «евррей», или «ивре», скороговоркой, как бы проскакивая опасную зону. И в этом смысле мужик, кажется, был без комплексов, просто – у каждого своя заезженная пластинка.

Когда мы познакомились и вместе драпали к метро, я был уверен, что он еврей. Ну кто еще будет собирать «иудаику»? Но когда увидел при регалиях, то, естественно, засомневался. Теперь же сомнение подтвердилось.

– А вы сами-то, из евреев будете?

Даже Лена смутилась (как я потом убедился, с ней это случилось не часто), встала и ушла на кухню за чайником, оставив меня наедине с этим неожиданно распоясавшимся и наверняка вздорным стариканом.

– Из самых что ни на есть, – ответил я, невольно подражая его глумливому тону.

Он кивнул головой, как бы подтверждая свою догадку, и повторил:

– А меня всегда в Академии евреем считали. В армии –

нет, а в Академии – считали. Причем скрытым!

И он хохотнул.

– И вы знаете, – продолжил он, как-то затуманившись, – ведь что-то они во мне почувствовали... что я и сам еще не знал... (При этом заявлении, как говорится, все насторожились.) Еще наливочки?

Пропустили еще по рюмке. Вошла Лена и стала разливать чай.

– Замечательная наливка. Из каких ягод? – любопытствовал я, изображая любознательного помещика.

– А-а, это мое, собственное изобретение! – оживился генерал. – Тут и крыжовник, и смородина, и еще кое-какие таинства!

Я старался пить чай интеллигентно, малюсенькими глотками, боясь опозориться (мамин окрик «не сёрбай!» стоял у меня в ушах). Будучи евреем и потомственным пролетарием, я ощущал себя дважды плебеем и от близости высоких чинов чувствовал легкое головокружение. А тут даже сервиз был явно «не из простых», с росписями: какие-то дамы и кавалеры в париках, в куртуазных позах. Я и генерала вообразил в таком парике. Глубокие морщины катились по его лицу, продолжая завивку парика, но взгляд карих глаз был молодой, напористый.

– Так как вы думаете, война будет? – спросил он неожиданно.

– Какая война? – искренне удивился я.

– Как какая? На Ближнем Востоке. Египтяне ведь закрыли проливы.

Я опять напрягся – нет, с этим типом надо держать ухо востро – и пожал плечами. Как можно равнодушной и тоном, предлагающим закрыть тему, обронил:

– Не знаю.

– М-да, – генерал вдруг опечалился. – Я виноват, конечно. Забыл, что мы не в Гайд-парке...

– Деда! – одернула его Лена.

– Да-да... – помрачнев, сказал Петр Наумович.

– Знаете, был такой анекдот, – сказал я, не зная, как иначе разрядить обстановку, а может и «наливочка» подействовала, – англичанин и русский поспорили, в какой стране больше свободы, англичанин говорит: конечно, у нас, вот я, например, могу выйти на лужайку в Гайд-парке и публично заявить, что наша королева – дура! Подумаешь, сказал русский, я тоже могу выйти на Красную площадь и публично заявить, что ваша королева – дура.

Анекдот, как видно, оказался для Петра Наумовича «свежим», и он заразительно захохотал.

– Ну, раз такое дело, – он явно повеселел, – тогда последнюю. Всё, последнюю (это уже к Лене), – и стал разливать наливку. – Ваше здоровье!

Мы чокнулись.

– Только бы решились... – произнес он как-то в сторону.

– Надеюсь, что всё обойдется, – сказал я на всякий слу-

чай, хотя генерал и не смахивал на дешевого провокатора. – Пошумят и перестанут.

– Ну, нет, – Петр Наумович решительно покачал головой, – это не дворовая ссора! Там история узелок завязала.

– Да уж, – говорю, – где евреи, там непременно случится какая-нибудь история.

Генерал, ухмыльнувшись, погрозил мне пальцем.

– Напрасно иронизируете, молодой человек, оно так и есть. Где евреи – там... Да, если угодно: там и история. А где их нет, или если они покидают какие-то страны, то страны эти зачастую оказываются как бы вне истории...

– По-моему, тебе надо отдохнуть, – сказала Лена, разговор ей не нравился.

Но Петр Наумович гнул своё:

– Мы должны молиться (его «мы» не прошло мимо моих ушей, и я опять подумал, что может он действительно «скрытый»?), молиться! чтобы у них хватило решимости. Евреи должны воевать каждое десятилетие, чтобы хребет выпрямился. Впрочем, у них нет выбора. Есть эпохи, когда уже не люди, а боги вступают в спор...

Обмен книгами на этот раз не произошел, генерал, прочитав мне лекцию о значении Библии для мировой культуры, пообещал достать «нормальную» книгу («эту надо с лупой читать»). Перечитать не было смысла: я был теперь заинтересован развивать контакты.

Лена, попрощавшись, ушла к себе. Генерал проводил ме-

ня до двери, однако, уже взявшись за ручку, неожиданно продолжил разговор:

– А вот интересно, Наум, у вас есть желание творить историю? Когда мы были молодые, это было для нас самым главным, а нынешняя молодежь... как-то стремится «уйти в частную жизнь». Или я не прав?

– Ну, – говорю, – тогда время было другое, и захочешь – не спрячешься. Да и вообще история нас не спрашивает.

– Ой-ли, ой-ли... Разве история – это не деяния людей?

– Нас учили роль личности в истории не преувеличивать.

– Как вам сказать... известно, например, что иногда одна единственная битва решала исход войны и определяла исторический путь народов: при Пуатье был положен предел арабскому вторжению в Европу, при Грюнвальде – германской экспансии на Восток, битва при Гастингсе решила судьбу Англии, и так далее. А судьба битвы, это я могу сказать и по личному опыту, зачастую решается на каком-то узком, но ключевом участке, где сталкивается ограниченное число людей, и в этой схватке все зависит иногда от одного человека, способного увлечь за собой других или проявить примерное, а то и беспримерное личное мужество. Вот и получается, что один человек может решить судьбу сражения, войны, определить историческую судьбу, и не будучи полководцем или государственным деятелем. Не зря же люди славят героев. Но что интересно: даже те, кто сознательно от ответственности уходят, решают, так сказать, сугубо частные задачи –

все равно определяют судьбы других, и безответственность столь же судьбоносна, как и героизм, вот ведь какая штука...

– А существует ли вообще История Человечества?

– Оо, вопрос не мальчика, но мужа! – Петр Наумович хитро прищурился. – Мне почему-то кажется, что вы интересуетесь историей не меньше, чем электроникой?

– Да мне эта электроника вообще до фени, – признался я в сердцах.

– Прекрасно! Конечно, История – это понятие, и понятие определенной культуры. В сущности иудео-христианской, чего греха таить. А Гегель вообще сделал историю Вавилонской башней бытия, которую человечеству предназначено строить. Но есть народы и культуры, не признающие «исторических перспектив»... По мне, так у народов, как и у людей, есть судьба, а значит и...

– А мне кажется, – я наконец-то нашел собеседника, с которым захотелось поделиться сокровенными мыслями, – что история, и даже судьба, это вопрос рассказа, историю создают рассказчики, и рассказывают они, как правило, не то, что было, а то, что, по их мнению, может быть интересно слушателям...

– Это хорошая мысль. Но рассказ и потребность в нем – это и есть культура. Вот Библия как раз – первая в мире историческая книга, книга, где описывается История, история взаимоотношений целого народа, с его Богом, такой роман с Богом...

На дверь осторожно нажали, она медленно открылась и на пороге появилась высокая женщина лет пятидесяти, может, чуть меньше, я тогда плохо разбирался в подобном возрасте, белокурая, со вкусом одетая, короткая стрижка с челкой, аля Мирей Матье, мне даже показалось, что «со свиданки».

Произошло несколько суетливое и неловкое знакомство с Верой Петровной, которая мне тоже понравилась, выглядела она в тот вечер довольно моложаво, и, рассказав под занавес анекдот про разницу между англичанами и евреями, что англичане уходят, не попрощавшись, а евреи прощаются, но не уходят (и этот анекдот вызвал бурный восторг Петра Наумовича), я откланялся и всю дорогу домой, довольный собой, до ушей улыбался, весело повторяя, как припев, хлестаковское: а мамаша тоже ничего, аппетитная!

Генерал-майор Петр Наумович Харитонов, до недавнего времени еще преподававший в Академии историю войн, вел замкнутый образ жизни, выбираясь только на книжную толкучку, где время от времени сближался с разными чудиками, в основном – евреями, владельцами нужных ему книг или материалов. Дело в том, что Петр Наумович писал книгу о решающей, да-да, именно решающей роли евреев в победе над гитлеровской Германией. Основной тезис книги доказывался немалой, понадернутой отовсюду и творчески обработанной статистикой. Был здесь и краткий обзор важной роли евреев в технических достижениях Англии и Америки,

в политической поддержке вступлению Америки в войну и в непосредственном участии в военных действиях на фронтах (по сведениям, взятым им из какой-то немецкой книги – он владел немецким – на стороне антигитлеровской коалиции воевало полтора миллиона евреев). Но главное внимание было, конечно, уделено Великой Отечественной войне. По его подсчетам, на советско-германском фронте воевало полмиллиона евреев, примерно 12 % еврейского населения СССР, из которых погибло более двухсот тысяч). Процент офицеров и Героев Советского Союза среди евреев был на много больше процента их численности и пропорционально превосходил долю всех других национальностей (при этом он хитроумно опровергал ухищрения официальной статистики), но определяющий вклад был не на фронтах, а в интеллектуальной сфере: составляя перед войной 13 % научных работников, 16 % врачей и 10 % инженеров (при двух с лишним процентах населения), евреи были административной, научно-технической и пропагандистской элитой страны. Он скрупулезно собирал имена директоров заводов, главных инженеров, главных конструкторов, директоров КБ и начальников лабораторий, даже простых инженеров, определявших ситуацию на главных направлениях научно-технических разработок. На этих «главных направлениях» (авиа- и танкостроение, электроника, ядерные исследования) «прóцент» просто зашкаливал, особенно если считать с полукровками, которых он не исключал из «об-

щего вклада». Официальная статистика существовала лишь частично, так что он собирал сведения по крупицам, иногда судьба сводила его (на ловца и зверь бежит) с евреями – энтузиастами этой темы, собравшими, каждый в своей области, необъятный материал (у одного была подробная, по годам, статистика Героев СССР по национальностям, у другого – поименный список всех офицеров-евреев, от лейтенантов до генералов армии, составленный по публикациям советских газет за десятки лет). Он и меня попросил заполнить анкеты на всех известных мне родственников, ближних и дальних: годы жизни, место рождения, социальное происхождение, образование, брак (особо указать, если смешанный, статистика полукровок была его особым коньком), служба в армии, род занятий и т. п., и распространить такие же анкеты среди знакомых. Особо подробно нужно было отметить тех, кому удалось сделать карьеру. Он говорил, что у него сотни таких анкет.

В его погруженности в эту тему было что-то маниакальное, заставлявшее подозревать какую-то тайну. Лена мне рассказала, что в 53-ем он был настолько возмущен анти-семитской кампанией, что написал какое-то письмо Сталину, его арестовали, но через несколько месяцев выпустили и восстановили в правах – Сталин вовремя умер.

Однажды я спросил его напрямик:

– А почему вас так интересуют евреи?

– Здрости. Кто ж ими не интересуется? Про Вечного Жи-

да слышал (он давно был со мной на ты)? И вечности его секрет разгадке жизни равносильен... Ты как-то говорил об истории как рассказе, так вот, можно сказать, что увлек меня этот рассказ... Мне в детстве бабушка Библию читала на старо-славянском, и я думал: какая красивая сказка... Ну и потом, так получилось, что самые интересные люди, с которыми мне пришлось в жизни столкнуться, были евреями...

– Не знаю, мне пока не очень-то везет в этом смысле. Да и вообще, советские евреи в сущности и не евреи уже, они не несут с собой какого-то особого культурного багажа, наследия, не хранят какой-то особый культурный опыт. Тем более «полукровки», ну что, будем считать процент еврейской крови? Это уже какой-то, извините, расизм.

Настала тишина, как перед артобстрелом, который ждать себя не заставил.

– А ты кем себя считаешь?

– Ну, мне-то выбирать, к сожалению, не приходится... – я засмутился. – Но в смысле культуры...

– Ну да... А вот скажи мне, тебя обрезали?

– При чем тут обрезание?

– А что, по-твоему, культура – это романы? «Анна Каренина»? Культура – это обрезание. Культура – это символы и обряды расы, а история – борьба рас.

– Да? А я думал – борьба идей.

– Идеи – цветы рас, дети мифов. И история не просто рассказ, а миф. История – это мифология. Мифы народов – это

смысл их существования и гарант выживания. Поэтому люди сочиняют мифы и воюют за них. Воюют насмерть. Настоящие войны – это войны мифов, и последняя война в этом смысле была иудеогерманской, и никакой другой. А мы живем не просто в Истории, а в христианской истории, то есть наша история – это еврейский миф. Нас заставили поверить в него, мы его пленники. Конец этого мифа – и наш конец. Так что участвовать в истории для нас – это участвовать в еврейской судьбе. А этот магнит всех затянет, и полукровок, и «чужих». Вот и меня намагнитило...

– Осталось только принять иудаизм, – усмехнулся я.

Он неожиданно посерьезнел и даже как-то замер, но потом «отошел». И произнес с печальной задумчивостью:

– Мою судьбу это уже не изменит... Вот если бы книгу удалось дописать. Может быть, в Израиль поехать, взглянуть хоть одним глазком...

Мы сблизились, я стал у них частым гостем, хотя так до конца и не преодолел некоторой настороженности и не всегда врубался в его вдохновенные речи. Меня покорило ощущение равенства и подлинного интереса к моей персоне, если бы не разница в возрасте, можно было бы считать это дружбой, и я гордился нашим сближением, мне нравилось помогать ему: разбирать книги, выполнять мелкие поручения, иногда – переводить с английского. К тому же я получил доступ к совершенно фантастической библиотеке, в которой были не только магически звучащие имена Ницше,

Иосифа Флавия, Моммзена (когда я похвалялся прочитанным среди книголюбцев, на меня падали лучи славы и зависти, как на царедворца, принятого монархом), но и немало литературных раритетов, в том числе прижизненные издания тех, кого лишили жизни или только читателей, кто теперь входил в моду или был известен еще только в «узких кругах». Отношение Петра Наумовича к книгам было благоговейным. Место каждой (в каком шкафу, на какой полке, с какого края) было аккуратно записано, для чего имелось несколько толстых тетрадей, доставалась книга не спеша, сначала освобождалось место, так, чтобы не тянуть за корешок, потом она перекладывалась с ладони на ладонь, как горячий пирожок, чтобы дать рукам ощутить ее ласковый вес, материю переплета, потом она обнюхивалась: так алкоголик, прежде чем хлюбыстнуть, пьянея от предчувствия, наслаждается ароматом многообещающего напитка. Страницы переворачивались бережно: не дай Бог, повредить, особенно пожелтевшие страницы старинных книг, и после каждого поворота его жесткая ладонь нежно, едва касаясь, проводила по буквам... Собственно, тут мы и сошлись, на этой общей любви к письменности.

И все же самым главным моим «интересом» во всей этой системе отношений была близость к Лене. Тогда, на следующий день после нашего неожиданного знакомства, она пришла-таки на соревнования, с каким-то парнем, который, прерзительно улыбаясь, демонстративно отворачивался от рин-

га. Нет нужды говорить, что это был лучший бой в моей жизни. Пусть я его проиграл, противник был явно сильнее, но дрался я вдохновенно! Никифоров лично мне ассистировал: утирал мокрым полотенцем лицо своими дрожащими руками (он страдал Паркинсоном) и что-то кричал, показывая, как, мол, надо с противником разобратся: крюка ему, крюка снизу, он руки высоко держит. Руки-то плечистый и тонконогий враг держал высоко, это я и сам понял, да больно шустро башкой крутил, не попадешь, да и не мог я сосредоточиться на том, что разгневанно кричал мне Никифоров, голова гудела – и от ударов, и от какого-то пьяного вдохновения, сродни поэтическому, будто перед тобой стадион ревущий, и никак нельзя ударить лицом в грязь... После боя Никифоров сказал, что если я продолжу в таком же духе, он меня через полгода запустит в серьезные турниры. Я быстро-быстро ополоснулся в душе, оглядел опухшую губу и ссадину под бровью – синяк будет, махнул рукой (в общем, легко отделался) и выбежал из раздевалки, но ее не было. Я тут же «поплыл», как говорят боксеры, еще не научился держать такие удары, но на следующий день она меня по-королевски вознаградила: подошла к нашей компании, поздоровалась со всеми, сказала мне спасибо, она не думала, что ей будет так интересно, ну, и всякое такое. Если бы вдруг объявили, что я получил Нобелевскую по литературе, мои акции среди приятелей не смогли бы подняться выше. Даже год спустя ко мне еще подходили малознакомые люди и спрашивали: ну что,

трахнул Харитонову? Я реагировал с неизменной драчливостью, что для сметливых было неопровержимым доказательством моего успеха.

Потом я пригласил ее на вечер Вознесенского: после ринга уже можно переходить к стихам – сочетание действует безотказно, потом на «Евангелие от Матфея» Пазолини, в Дом актера, закрытый просмотр, уж я расстарался, уж я надыбал билетки! Пазолини и его евангелие я «догнал» только через тридцать лет, а тогда эти черно-белые (а они палевые, палевые!) каменистые пейзажи, по которым я потом буду ползать с винтовочкой (кто бы знал!), и этот пророк ресентимента, который в последнее время дразнит мое воображение, мало меня занимали, я сидел рядом с ней не дыша и думал: если я возьму ее за руку, это будет смелостью или ребячеством?

Увы, на этом совместные выходы в свет прервались – у нее началась финишная прямая перед защитой диплома, но мы виделись, когда я заходил в гости к Петру Наумовичу.

Конечно, я был влюблен, но при этом ощущал какую-то странную атрофию чувственности. В ее присутствии я будто погружался в эфирное облако радости, которая действовала на «нижний этаж», как анестезия. Но когда мы расставались, и я, приходя в себя, начинал анализировать свое поведение, то не мог объяснить его иначе как нерешительностью, страхом, а здесь действительно присутствовал какой-то глубинный страх, я это чувствовал, и бичевал себя, и ненавидел за «слабость», боялся, что и она в глубине души меня прези-

рает, считает мальчишкой... Но когда мы встречались, все отступало, все страхи, сомнения и самобичевания, я погрузился в это облако радости, и мне казалось, как сказал поэт, что «нет иного счастья и не надо».

В начале июня Лена вдруг предложила мне поехать на дачу. Надо было что-то приготовить для лета, что-то отвезти, что-то забрать в Москву, не мог бы я помочь, и потом она одна боится.

Я помню этот день до мельчайших подробностей. На вокзале моросил дождь, но потом распогодилось, и пролетающие за окном леса, сады, избы, платформы – все было вымыто, забрызгано солнцем, разлетевшимся на мириады сияющих капель, блестело глянцевой зеленью, куталось в нежно-белый и розоватый дым цветения... На станции, у туго спеленатых в серые платки мумий, купили свежий лук, редиску, помидоры (бутерброды с сыром везли с собой), потом долго шли по расхлябанной, вспаханной шинами дороге, мои новые ботинки («Ты что, в новых ботинках?! Мы ж не на танцы!») облипли грязью, никто не попадался навстречу. Она, подражая деревенским, стянула лицо серебристо-синей косынкой, которая до этого была повязана на шее, как пионерский галстук, и, демонстрируя мне новый наряд, весело улыбнулась, и вдруг ее лицо показалось мне таким милым в своей неожиданной простоте, таким родным и близким, что я тут же, посреди дороги, которая шла по окраине луга, за лугом – лес, посреди весеннего, безлюдного мира, неожидан-

но для самого себя обнял ее.

Может быть, потому, что это произошло так внезапно (внезапное счастье – самое сладкое) а, главное, так естественно, я с радостным удивлением, в первый и единственный раз в жизни почувствовал, что больше ничего не боюсь и что жизнь не враг мне, которого нужно обмануть, подчинить, победить, я почувствовал какую-то – иного слова не подберешь – гармонию с миром, какую-то странную легкость. Я даже и не знал, что так может быть, мне и сейчас с трудом в это верится. (Но интересно: от этой радости не осталось стихов, вдохновляла меня только печаль.) Я все время смотрелся в зеркало, пытаюсь понять, чем же оказался столь привлекателен? Хотелось петь и танцевать, и все эти дни я пел и танцевал, и крутился перед зеркалом, так что даже папа спросил: «Влюбился, что ль? Смотри, шиксу¹ не приведи».

Я позвонил на следующий день вечером. Ее не было. Вера Петровна сказала, что она ушла к подруге заниматься. На следующий день ее тоже не было. На этот раз подошел Петр Наумович. Я попросил его передать Лене, что я звонил. «Заходи», – сказал он. Я сказал, что сегодня никак не могу, но на неделе заскочу. Не хотелось как-то в обход лезть ей на глаза. Тем более, что она не позвонила. Я обиделся. Позвонил через два дня, уже озабоченный. Что-то здесь не так. Ну да, у нее защита на носу, но по телефону-то можно поговорить... Трубку поднял Петр Наумович. Я и в тот раз заметил, что

¹ Уничижительное название женщины-нееврейки (*идиши*).

голос у него был какой-то... виноватый что ли, а на этот раз он был и не такой приветливый, как обычно, даже неискренний: «Нет ее. Всё с этим... дипломом...»

Я пошел к ним на защиту, увидел ее издалека, в возбужденной толпе дипломников. Как бы проходя мимо, помахал рукой, она заметила меня и приветливо улыбнулась. Крикнул: «Ни пуха ни пера!» «Иди, сам знаешь куда!» – крикнула она в ответ, нервно смеясь. Потом я вернулся, надеясь перехватить её после защиты, но удача от меня отвернулась, крутиться же среди ее однокашников, тем более спрашивать, намекая тем самым на особые с ней отношения, я не решился. Позвонил вечером, ну просто, по-товарищески, узнать, как прошла защита. Голос Веры Петровны был радостный: «Защитилась, защитилась! Спасибо, что позвонили! Я непременно ей передам». Ну, допустим, день она «обмывала», день отсыпалась. Вечером я попытался напроситься к Петру Наумовичу, сказал, что хочу вернуть ему Дельбрука. Но к моему изумлению Петр Наумович сказал, что он приболел. «А как Лена, – спросил я, – спит еще?» – «Спит? Да она уж два дня как уехала». – «Уехала?!» – я был ошарашен. – «На недельку», – успокоил меня Петр Наумович. «Куда?» – спросил я бесчувственно, почти машинально. «В Таллин, путевка какая-то». До меня, наконец, дошло, что меня не хотят видеть. Не важно, по какой причине. И, цепляясь за крохи мужской гордости, я решил, что всё. Это помогло мне кое-как сдать оставшиеся экзамены и не выле-

теть из проклятого института.

Я не звонил две недели, за это время прошла война, «наша взяла», и меня тянуло позвонить Петру Наумовичу, поделиться, расспросить, и потом я должен был вернуть ему Дельбрука, но я «держал себя в руках». А когда эти две недели прошли, она вдруг позвонила сама. Как ни в чем не бывало. Спросила: «Ну, сдал сессию?»

– Со скрипом. Лишили стипендии...

– Ничего, на следующей сессии вернешь, ты же способный.

– Да? Не знаю...

– Способный, способный. А срывы – это бывает.

– Да, бывает, – сказал я многозначительно.

– Не хочешь погулять?

– Погулять?..

– А еще лучше – приезжай к нам. Дед на даче, мамы допоздна не будет.

Когда я вошел, она обняла меня и поцеловала.

– Ух, как я соскучилась!..

И меня, со всеми обидами, потянуло в воронку любви, и я закружился в ней круг за кругом, все быстрее и быстрее... Не знаю, сколько прошло времени. Мы лежали рядом, уже разделенные, только ее рука на моем предплечье. Мир проявился: небольшая комната, низкая тахта, этажерки с книгами, в основном учебниками, хула-хуп у стены, портрет Хемингуэя в свитере на всю стену.

– Почти месяц не виделись, – сказал я с легким упреком.

– Да...

– Какие новости?

– Да много всякого... Иду работать в Институт Телевидения. Чудом попала, я очень довольна.

– Молодец.

– А ты чего делал?

– Стихи писал, – сказал я ворчливо.

Она усмехнулась:

– А я вдруг поняла, что очень хочу тебя видеть...

– Когда ж ты это поняла?

– Вчера. Или даже позавчера.

– Что ж такое произошло позавчера?

– Замуж вышла.

– В каком смысле?

– В каком смысле выходят замуж.

Помолчали. Я не знал, как мне расценить ситуацию и как вести себя дальше.

– И что... он...

– Да с ним все в порядке, он классный мужик, будет хорошим мужем, я его люблю. Но дело не в этом, я вдруг почувствовала, что ты мне нужен... Что я не могу без тебя. Твои руки, как ты меня ласкаешь... И вообще... Даже стихи... вот, перечитала то, что ты мне написал и... позвонила.

Вот так, едва начавшись, кончилась моя «любовь», и на-

чался первый роман с замужней женщиной.

Прежде всего, он научил меня тому, что нечего рассчитывать на то, что ты единственный (я даже не был единственным любовником).

Почувствовать себя «Единственным», ощутить значимость собственного существования – вот что привлекает мужчину в любви с женщиной. Любовь – грелка для тщеславия.

Где-то в конце сентября она уехала в Алжир. Муж, старше ее года на три (она все-таки показала его фотографию), высокий, деревенского вида парень, типичная «опора режима», закончил закрытый институт военных переводчиков (арабский-французский) и работал в МИДе. К зиме Вера Петровна тоже вышла замуж и переехала к мужу, и Петр Наумович остался один. Немного сник, но режим по-прежнему соблюдал («Главное – дисциплина!»): два раза в день легкая зарядка с гантелями (килограмма три), всегда тщательно выбрит и аккуратно одет, даже дома. Иногда я помогал ему «по интендантской части», иногда мы вместе прогуливались до парка ЦДСА. Но со временем я стал заходить все реже – загульное было время, да и наши разговоры шли как-то по кругу: евреи, смерть, история, повторяясь и уже раздражая меня – я становился злым и циничным. Однажды застал у него двух странных иудеев в драных заячьих шапках, которые они не снимали, подумал: уж не собрался ли старик в самом деле

иудаизм принять? Он не отпустил меня (я зашел отдать очередную порцию книг), а когда они ушли, достал свою нали-вочку, остатки...

– Давай-ка выпьем... Я письмо получил от Ленки. Фактически первое письмо. Были еще две открытки... Спрашивает, заходишь ли ты. Кажется, и этим письмом я обязан тебе... А Вера не заходит. Звонит иногда, спрашивает, не надо ли чего. А евреи вот заходят. Да, верующие, но это по книжным делам. Я ведь библиотеку продаю. Не всю, так, по книжке... Деньги нужны. Квартиру убирать надо, готовить. Они мне и женщину нашли, евреечку, ничего так, не старая еще...

Однажды мы шли по бульвару, мимо цирка Дурова к парку, знакомые с отрочества места, была хорошая погода: прохладно и солнечно, слетала последняя листва, и живописная грязь тропинок невольно наводила на мысль о палитре художника.

– Я в последнее время стал хуже видеть, – сказал Петр Наумович, – перехожу иногда Садовое, и потоки машин сливаются в такое цветное мелькание, вроде листопада... А ты о смерти думаешь?

Я смутился. Он заметил это и сказал:

– Нет, это не потому, что старость, я в юности гораздо больше думал о смерти. Хотя гораздо меньше ее боялся... Скажи, ты собираешься уезжать? – вдруг спросил он со своей обычной прямоотой римлянина.

Я сделал вид, что не понял, куда он клонит, и стал придуриваться:

– Куда?

– Куда-куда, в Израиль, – произнес он с ударением на последнем слоге, передразнивая государственных руководителей.

Борьба за эмиграцию уже шла во всю, и я, конечно, думал об этом, но уезжать не хотел. О чем и сказал ему.

– Почему?

– Не знаю... И люблю эту бедную землю, оттого что другой не видал...

– История этой державы заканчивается. Заходит в тупик. Надо думать о будущем.

– Об «историческом», что ли? Какое мне дело до истории? А если я просто хочу стихи писать и, кроме как по-русски, ни на каком языке не смогу? Это как без души остаться.

– «Душа»! – произнёс он с сарказмом, почти зло. – Так ты ничего про историю и не понял. Душа и есть – история. Так что, выбрав историю, выбирают и душу. Не всегда есть свобода выбора, но если она есть...

– А чем русская история плоха? Раз уж родился в России...

– То, что мы называем «Россией» – это всего полтораста лет онемеченной имперской государственности от Екатерины до Октября. Русские государства вообще создавались либо варягами, либо монголами, да-да, монгольское «иго» –

эпоха консолидации русской государственности, либо немцами. А этот Египет, – он кивнул в сторону, – держался только благодаря еврейским мамлюкам. Советское государство было еврейской мечтой, но когда их от мечты отлучили, этот механизм потерял пружинку. Еще четверть века и – стоп машина, жди новой управы. У русских нет мифа, ради которого стоит жить, я уж не говорю – умирать, религия – служанка власти, и если завтра победят мусульмане, русские будут молиться Магомету, как молились Сталину после Христа. Чаадаев писал, что если бы мы не раскинулись от Одера до Берингова пролива, нас бы просто не заметили. Чаадаева надо учить наизусть! Он первый, и чуть ли не единственный, кто решился сказать, что русская история бездарна. А бездарность не может существовать вечно. И конец уже близок. Конец истории и конец души, той самой «русской души», с которой ты носишься как с писаной торбой. Ты вот спрашивал, почему меня так интересуют евреи. А потому что еврейская история – это вызов судьбе, вечный вызов всему и всем, это единственная пьеса, которая отказывается сойти с исторической сцены, потому что это подлинная трагедия гибели и возрождения, и евреи продолжают ставить её в каждом поколении. И это зрелище вдохновляет, вселяет надежду...

– Ну, это уже какая-то эстетизация истории, вы подходите к ней, как зритель к театральному представлению – ищите в ней вдохновения. А в истории приходится жить. Вряд ли вам захочется сейчас вернуться в годы войны, хотя через сотню

лет все эти ужасы станут «величественным зрелищем». Если бы человеку можно было выбирать страну и историю, то каждый выбрал бы Швейцарию.

– Ты не прав. Вдохновение – не для праздности, не для развлечения, это жизненная необходимость. Жизнь должна вдохновлять, или – кончен бал. И это вдохновение может дать только история.

– А любовь?

– Любовь... Любовь скорее относится к опьянению... Нет-нет, любовь лишь иллюзия вдохновения, обманка. Сильная, но кратковременная. Я бы сказал сезонная. Любовь может быть вдохновением жизни только для женщины.

Когда Лена вернулась, я уже был женат. Но все началось снова. Первое время мы маялись по чужим квартирам, но потом «поселились» у Петра Наумовича. Поначалу я чувствовал себя довольно неловко: ведь мы явочным порядком поставили его в двусмысленное положение, но она уверяла, что «всё путем». И действительно, со временем все освоились с новой ситуацией и даже привыкли к ее очевидным выгодам, для каждого – своим. Он, стараясь избавить нас (да и себя, надо полагать) от лишних неловкостей, отправлялся перед нашим приходом на прогулку, а мы старались не шуметь, когда он возвращался, шебурились, как мыши, в своем углу.

В первый раз мне было странно оказаться вновь в ее ком-

нате. Я был в ней только раз до ее приезда: мы с Петром Наумовичем перетаскивали сюда картонные коробки с его бумагами: все тот же Хем на стене, те же книги, уже под нежной шубкой пыли, тот же хула-хуп в углу. С тех пор ничего не изменилось, даже коробки остались, только с книг и дивана исчезла пыль. В тот первый раз так вышло, что после трудов праведных я забылся коротким сном, а, открыв глаза, увидел, как она, запустив хула-хуп вокруг талии, качается посреди комнаты, как смерч в пустыне... Когда она заметила, что я смотрю на нее, улыбаясь, хула-хуп с грохотом упал, и она со смехом и кулаками бросилась на меня...

Никаких ожиданий, никаких мечтаний в этой любви не осталось, кроме загадки непреодолимой тяги друг к другу. Неожиданно «телесное» заполнило все. Она говорила: «Я завишу от твоего тела...» Я зависел от ее тела не меньше. Приползая домой и отодвинувшись от жены, я не спал ночь, все еще чувствуя ее, и чем дальше, тем чаще говорил себе: всё, пора завязывать, а через день звонил ей и говорил: «Я тебя люблю», и она шептала мне: «И я тебя. Я счастлива...» Нет, она не была счастлива, хотя всегда прибегала на свиданья веселая, и мы часто давились от смеха на ее старом, неудобном диване – не дай Бог, Петр Наумович услышит.

«Я хочу в тебя проникнуть, – говорила она. – Это несправедливо: ты можешь в меня проникнуть, а я в тебя не могу! Мне иногда хочется разять твою грудь и залезть туда, и там лежать около сердца, свернувшись калачиком».

А потом она снова уехала, уже во Францию. Петр Наумович постепенно сдавал, глаза выцвели и слезились, я отворачивал глаза: это быстрое старение даже не пугало, а смущало, будто подглядывал за крадущейся смертью. Я перестал к нему ездить: мы тогда перебрались в другой конец города, и вообще жизнь уносила в другую сторону, затягивала в плотный водоворот дел житейских, и мне казалось, что она меня перемальвывает... Однажды я завел с Вадимом разговор на тему «так дальше жить нельзя». Он понял буквально-революционно и, усмехнувшись, ответил:

– Так ведь мясо будут крючьями рвать. Жалко молодое тело!

Но я имел в виду другое: какое-то тоскливое беспокойство о себе, о том, что, может, самое лучшее во мне погибает...

Мы были молодые, сильные и красивые. Сексуальная революция осенила нас своим мятежным крылом. Народ мстил угнетателям отчаянным распутством. Пустые дачи оглашались по ночам трезвоном гитар и пьяными песнопениями. Это была какая-то непрерывная отходная, я воображал, что прощаюсь с Россией, и, уже пьяный вечностью предстоящей разлуки, жадно глотая холодный ветер в выбитых окнах тамбура, цеплялся абордажными крючьями души за ее осеннюю распутицу, облезлые перелески, за ее пепельноволосях, сероглазых и отзывчивых дев. И стихи, стихи между стаканами, поцелуями и признаниями, в каком-то сплошном вдох-

новении перелома. Я прощался с Россией, чтобы не думать, что прощаюсь с самим собой. Уйти! Сломать судьбу! Пройти сквозь сеть. Сорваться, как табун в глухую степь...

В октябре 73-го, когда я метался по дождливой Москве, не находя себе места: «там» шла война, и исход ее был неясен (тогда я впервые осознал, вернее, почувствовал, что ведь если Государство не выстоит, то и мне жизни не будет на этой земле, изведут угрызения, и тогда же обет дал: выстоит – уеду), Петр Наумович вдруг позвонил: «Зайди. Ты мне нужен».

В его облике была прежняя энергичность, деловитость, какая-то особая собранность. Он подвел меня к большой картонной коробке: «Здесь книга. Почти законченная. Я хочу переправить ее за границу. Еще там, у Ленки в комнате, – архив, но это потом. У тебя есть знакомые, связанные с отъездными делами? Отказники? А еще лучше – которые якшаются с корреспондентами?» – «Это дело небезопасное», – промямлил я. «Жить, голубчик, вообще опасно. Так есть у тебя такие знакомые? Я еще могу этому журналу, «Евреи в СССР», подкинуть интересные вещи». – «Честно говоря, таких знакомых у меня нет...» – «А ты еще не начал учить иврит?» Поразившись тому, что он предугадал мои намерения, пока еще смутные, я сказал, что нет, не начал еще. «Жалко... Если бы я книгу переправил, я бы чувствовал себя свободней...» – «На Сенатскую потянуло», – съязвил я. Чувствуя себя стариком, я на «прекрасные порывы» и вся-

кую там «молодость духа» стал реагировать раздраженно. Он сказал: «Да. Мочи уж нет сидеть в четырех стенах, смотреть на этот заматеревший маразм... Ты пойми, это жуткая глупость: поднимать Восток на Запад и надеяться возглавить этот мутный поток, он зальет нас первых, Восток это бездна, всегда готовая слопать Россию, а Израиль – форпост цивилизации на краю пустыни... Хочу вот демонстрацию организовать...» – «Какую демонстрацию?!» – испугался я. «Обыкновенную. Выйду в парадной форме к Мавзолею и разверну лозунг». – «Какой лозунг...» – я совсем обалдел. «А вот». Он уже и лозунг соорудил: к двум палкам была приклеена простыня два на полтора, на которой от руки было нарисовано черной краской: «Руки прочь от Израиля!» – «Вы что, Петр Наумович, с ума сошли?!» – рубанул я, удивившись собственной грубости. Он мрачно посмотрел на меня: «Не хочешь помочь – твоя воля. Я и сам выйду на кого нужно. Будь здоров». Я попытался что-то объяснить ему, разгорячился, но он сухо и решительно дал понять, что разговаривать больше не о чем.

Я решился на двусмысленный шаг: выдал Петра Наумовича его дочери. Она как-то дала мне свой телефон, на всякий случай, если с ним что-то случится, я позвонил и сказал, что у Петра Наумовича возникла некая идея общественного протеста, стоит отговорить его от этой затеи, мне, к сожалению не удалось. Она выслушала молча и абсолютно отчужденно произнесла: «Спасибо, что позвонили». Через

несколько дней Киссинджер добился прекращения огня, и я решил, что все как-то само собой «утряслось». Но телефон у Петра Наумовича не отвечал. И так прошло около месяца, а потом вдруг позвонила Лена и сказала: «Дед умер. Неделю назад. Конечно, похоронили. Он тебе что-то вроде наследства оставил, подъезжай сегодня, если можешь, пока я еще тут...» Я приехал. Квартира была почти пуста: ни старинных книжных шкафов, ни буфета с наливочкой, ни дивана. Вера Петровна донельзя растолстела, с трудом узнал. Был еще ее муж, грузный мужик с мордой барбоса, он смотрел на меня настороженно и неприязненно. На столе лежал Танах², красивое дореволюционное издание. В книгу была вложена записка крупными буквами: «Это Науму», и номер моего телефона. И приписка: «Поклянись, что выучишь язык и прочтешь».

Поблагодарив, я выразил сожаление, что вовремя не узнал о смерти и не смог отдать покойному последний долг.

– А отчего он умер?

– Простудился, – лаконично и еще более сухо, чем по телефону, ответила Вера Петровна.

Я помялся, но все-таки сказал: «Петр Наумович писал книгу... Если эти материалы вам не нужны, то... Не хотелось бы, чтобы они пропали». Барбос, с трудом умещавшийся в кресле, стал нервно ерзать, отчего старое кресло жалобно за-

² Ветхий Завет (*ивр.*), акроним заголовков трех его частей: Тора, Пророки, Писания.

скрипело.

– Вы знаете, – сказала Вера Петровна, – все материалы, по воле отца, мы отдали в архив Академии...

Мне показалось, что она врёт, но что я мог поделывать. Лена сидела в углу, подурневшая, и безучастно молчала. Когда я вежливо попрощался (барбос при этом и не пошевелился), она вызвалась меня проводить. Я даже не обнял ее на лестнице, такой знакомой. Будто клей, которым мы были склеены все эти годы, вдруг растворился. «Ты что, беременна?» – вдруг догадался я. «Ага...»

На улице было многолюдно и шумно, и стало окончательно ясно, что мы теперь в этом космосе – каждый сам по себе. «Дед учудил в конце», – сказала она. – Решил на Красную площадь с каким-то плакатом выйти. Мать чудом его перехватила. Говорит, у нее какое-то предчувствие было. Зашла вроде просто так, а тут – какой-то плакат. Ты знаешь, что там было написано? «Руки прочь от Израиля!» – Она хихикнула. – Представляешь, чем бы это все кончилось, и для него, и для нас?! Какой скандал был бы, ужас... Потом ему плохо стало...» Помолчали. «Так что, архив действительно в Академию сдали?» – спросил я.

Мимо проехал мусоросборник. Лена проводила его рассеянным взглядом и устало произнесла: «Да какая Академия. Просто мать все к черту выбросила».

Химеры

В салон «старушки» меня ввел Зюс. Он крутился во всех модных салонах тогдашней Москвы, взахлеб рассказывая мне о своей «звездной» жизни. У меня слюнки текли от зависти, иной раз зубами скрипел, чтобы не попроситься (ждал, ждал, гад, моего унижения!), но двоюродный братан и друг детства держал свои светские карты близко к орденам, во всяком случае – от меня подальше.

У «старушки» собирались танцоры и танцовщицы, художники и евреи. Некоторые – в двух, а то и во всех трех ипостасях. Хозяйка была когда-то знаменитой балериной и находилась в дружеских, семейных и любовных отношениях со знаменитыми людьми ушедшей эпохи, в основном «из мира балета». Имена великих постановщиков, художников и исполнителей часто повторялись за большим столом, накрытым для традиционного чаепития и близко придвинутым к огромной кровати-пьедесталу, которую «старушка» не покидала: в конце тридцатых ее переехал трамвай, и она осталась без ног. «Других таких ножек в Москве нет», – выразился один замечательный художник. Над кроватью висело его огромное полотно «Турчанка», которое являлось почти зеркальным отображением того, что было на кровати: орнамента и расцветки подушек и одеял, и, конечно, – самой героини, которая возлежала в тех же что и на картине зеленых

с золотом одеждах, старательно повторяя позу «турчанки» и высоко держа головку с ярко покрашенным лицом, как бы приглашая посетителей отметить сходство с портретом. На неизбежно возникающие вопросы отвечалось с загадочной уклончивостью, но ходили слухи о другой картине, скрытой от посторонних глаз, повторяющей композицию парадного произведения, но на которой героиня изображена обнаженной, так сказать «Маха одетая» и «Маха раздетая».

Все эти легенды Зюс рассказывал мне настолько настойчиво, ко всему еще расписывая привлекательность тамошних дев и свободу их нравов, что я однажды поддался на его провокации и как можно небрежней бросил: «Ну, так познакомь». В ответ пошли объяснения трудностей этой процедуры, какой тщательный фильтр в этом салоне, «лишь бы кого не приведешь», но для меня он постарается, свои же люди. Мерси-мерси.

А потом он, как бы невзначай, спросил, общаюсь ли я еще с той девицей, которую он видел на нашей последней вечеринке, Алла, кажется, ее звали? На «нашей», это на нашей с Вадимом. Вечеринки эти нельзя было назвать «светскими»: девицы были совершенно случайные и отбирались по одному единственному критерию: «можно трахнуть». Ловили мы их в кафе, на улицах, на танцах, в кино, да где угодно, и пропускали через чистилище вот таких «вчетверинок» (чаще всего собирались вчетвером), а потом уж как карма ляжет. Обычно на этой проверке все и заканчивалось, даже ес-

ли и давали сразу, и не потому что очередная девица была так уж плоха, или неинтересна, а просто невозможно было остановить «конвейер», и следующая автоматически вытесняла предыдущую. Хотя, естественно, кое-кто, в силу тех или иных особенностей, оставался в «золотом фонде». Иногда, особенно по праздникам, сборища были с расширенным кругом участников, порой и нас (или кого-то из нас) приглашали, да еще просили «привести мальчиков». В таких случаях, если не имелось под рукой более ценного кадра, я приглашал Зюса, и он регулярно западал на тут или иную участницу, преследуя ее звонками, приглашениями на закрытые кинопросмотры, выставки подпольных художников и даже на какие-то «тайные» спектакли по подвалам – такой уж братан Зюс был дружок муз. Но с девицами ему не очень везло, хотя, если взглядеться, его можно было назвать даже красивым: ладная фигурка, аккуратные, почти кукольные черты лица, увы, слишком, однако, мелкие, чтобы можно было их издали рассмотреть... Он крайне ценил ту девичью карусель, которая постоянно крутилась вокруг нас с Вадимом, и время от времени, хотя и скупно, обменивал наши половые связи на свои светские. Так я попал к «старушке».

За столом было человек десять, по непринужденности их общения, по тому, как они бесцеремонно разливали чай из блестящего, пузатого самовара и лакали варенье из изящных розеток, можно было представить себе, что это «ближний» круг. В цветнике из девиц и женщин от 20 до 50 сидел гид-

роцефал средних лет, который, смеясь, рассказывал сплетню. Зюс подвел меня к кровати и представил, как «талантливый поэт». Мерси-мерси. «Старушка» явно оживилась и бросила на меня какой-то совсем не старушечий взгляд прозрачно-бесцветных глаз. С таким «раздевающим» женским взглядом я не часто сталкивался. У нее было худое лицо неопределенного возраста, сильно набеленное и раскрашенное, казавшееся при ярком свете люстры жутковатой маской.

– Печатаетесь?

– Никак нет.

– Неофициоз, – сообщил Зюс, полунаклонившись к «старушке» и напустив на себя таинственность.

– Да? Любопытно. Почитайте что-нибудь.

Я почувствовал себя безбилетником, которого сцапал контролер (в отрочестве мы с Зюсом всегда ездили зайцем и в кино ходили только на протырку).

– Не стоит... – Зюс склонился еще ближе к «старушке» и заговорил почти шопотом, – все-таки...

– Здесь все свои, – сказал «старушка».

– Почитайте, почитайте! – раздались голоса.

Вот удружил братан. Но делать было нечего, пришлось расплачиваться за талон на место у колонн. Прочитал «На крупах медных буцефалов растаял снег...». Восприняли благосклонно. «Старушка» даже захлопала: «Замечательно! «Учись у старых ловеласов пренебрегать борьбою классов!» Это прелестно!» Засмеялась.

– Пожалуйста, еще почитайте, мы вас так не отпустим!

Я приободрился и прочитал «Царит на улицах пустынных тонкий смрад апрельской сырости...». Шумный успех. В итоге получился целый творческий вечер на полчаса, в общем-то, первый в моей жизни. Были читки по кругу в студии, но обычно по два-три стихотворения, и потом, все фактически читали руководителю студии, нежно-румяному Волгину, а друг другу читали на особых поэтических сборищах-пьянках, но это было «среди своих», а тут настоящая «аудитория»... Взволнованного до потери ориентировки, меня усадили за стол и угостили чаем с вареньем. Разговор за столом поплыл дальше, и я почувствовал, что экзамен сдан.

В этот вечер я познакомился с тремя – неплохой урожай. С Таней, блондинкой лет двадцати с длинными прямыми волосами и отрешенным, как будто сосредоточенным на своей беременности, личиком фламандской мадонны, с пышнотелой, но перезрелой (лет сорока) Эльвирой, кандидатом эстетических наук, пишущей работу о том самом знаменитом художнике, чья «Турчанка» красовалась над ложем «старушки», и смуглой (я мысленно окрестил ее «цыганкой»), энергичной, с крепкими ножками, Милой. Таня работала в мастерской известного советского скульптора и сумела разозлить меня своим высокомерием, телефон даже не дала, только, оглядев каким-то грубо оценивающим взглядом мою молодецкую фигуру, пригласила в мастерскую па-

трона, еще удивившись, что я не знаю ее адреса. У Милы были густые «восточные» брови, несколько квадратное лицо (я вообще не люблю восточных женщин), она была некрасива, но зато радушна и непосредственна, и явно проявила ко мне интерес. Как видно, она имела какое-то родственное отношение к «старушке» и распоряжалась в доме по интендантской части.

Начать я решил с эстетички, этот объект показался мне самым беспроегрышным и беззаботным (минимальная затрата энергии и средств на предварительные игры ценилась больше всего), тем более, что и она «клюнула»:

– Мне очень понравились ваши стихи.

– Спасибо.

– Нет, правда. И вы не пытались напечататься?

– Пытался.

– Каким образом?

– В «Юность» относил. В «Работницу». Показывал разным... Да у нас сборник студийцев уже два раза рассыпали, а там есть ребята очень крепкие, я по сравнению с ними...

– Зря скромничаете. Скромность вредит поэту.

– Я не скромничаю, я объективно...

– Объективность – это миф. Как заявите о себе, так и зашагаете, а будете прятаться за спины «старших товарищей», так и останетесь во втором ряду.

– Бернард Шоу, кажется, говорил, что «останется» тот, кто дольше проживет.

Она улыбнулась.

– Хотите, я покажу ваши стихи Т.? Если приглянутся ему, то...

– Я не против...

– Запишите мой телефон.

Через пару дней я позвонил, пригласил в кино, но мне было сказано, что времени шлаться по кино у научных работников нет, но я могу заскочить к ней домой, да хоть сегодня, и чтобы стихи не забыл. Окрыленный быстрым успехом (никаких сомнений в том, что меня не чаи гонять пригласили) и одурманенный фантазиями о пышнотелой и должно быть многопытной Эльвире (несколько беспокоило отсутствие разведанных о ее семейном положении, но, предположительно, оно должно было быть неопределенным), я трясся в заиндевавшем трамвае, дело было в морозном и ветреном феврале, и почти не заметил, как рядом со мной ухватилась за поручень чья-то рука в вязаной рукавичке, и при первом же резком торможении на меня упала ничем не примечательная девица в стареньком, небось ещё материнском пальто с пушистым воротником, с лицом, закутанным шарфом, который сбился и обнажил маленький ротик. Девица, покраснев, извинилась, мы разговорились. Оказалась лаборанткой на химическом заводе, и я потащился провожать ее на край Москвы, в какую-то жуткую рабочую коммуналку, плюнув на Эльвиру, отдав, так сказать, предпочтение молодости. И не прогадал. А когда, притомившись, попытался вздремнуть,

то ее нежные и быстрые поцелуи вдруг запорхали по моей спине, как будто ее облюбовал рой бабочек – восхитительное ощущение, и я оказался совершенно пленен этой аристократической лаской. С этого момента мы с Женечкой миловались года два с перерывами, но с неизменным энтузиазмом. Видимо, я как-то угадал под этим нелепым пальто гибкую, тоненькую фигурку и жадную щель, истекающую злым клеем. Энтузиазм, чисто физиологический, был так велик, что она даже решила, что я женюсь на ней, бедная деревенская девочка... Помню, как однажды встречал ее после работы, и когда заметил в клубке девиц ее юркую попку, все во мне, от пояса и ниже, замерло от вожделения и гордыни – моя!

А Эльвире я потом позвонил, извинился, сказал, что подвернул ногу и пока добрался домой уже поздно было и неудобно звонить... Поехал к ней через несколько дней. Она жила в однокомнатной аккуратной квартире: приличная мебель, стены – плотно-плотно в картинах и рисунках, книги, альбомы, в основном иностранные. Такие альбомы были в Москве социально значимы. Пока она готовила чай, я, сев на диван, впился в один из них, какого-то сюрреалиста (в живописи я был неразвит, но старательно «приобщался»). Живопись было не разглядеть: в комнате царил интимный полусумрак – горела только лампа на письменном столе, прикрытая абажуром —, но разрушать эту интимность вовсе не входило в мои намерения. «Что же вы в темноте!» – сказала она, подкатив к дивану столик на колесиках. Я сразу бросил альбом,

а то еще, не дай Бог, свет включит, и взялся за чай. Столик на колесиках мне понравился: культурно. Она села рядом, и я, не откладывая дел в долгий ящик (отложив только чай), набросился на нее, как Шерхан на буйвола Раму: слишком долго воображал себе эти пышные телеса (да-да, рубенсовские!). В полных женщинах есть своя прелесть, в этом тайном желании утонуть, пропасть в волнах плоти...

Конечно, это был нерасчетливый, а значит и неправильный ход (не надо думать, что мы действовали тогда как-то особенно ловко, или продуманно, нет, скорее наоборот, и неудач было множество, метод был статистический, рыболовецкий: знай себе закидывай сети, кто попался, тот и молодец, а прорехи чинить – дело плебейское, чего мелочиться, вона рыбы-то в море сколько!).

Эльвира не то чтобы возмутилась, но отнеслась к моему наскоку со снисходительным пренебрежением, мол, понимаю, дело молодое, но я все-таки кандидат эстетических наук... Она мягко, но твердо стряхнула меня с себя, тем более что чисто технически трудно было обхватить ее и тиснуть как следует, выдохнула: «Однако», и перевела беседу на искусствоведческие рельсы. Показала большой иностранный альбом Ф., о котором пишет работу, сказала, что это великий художник, к сожалению, малодоступный для зрителя, назвала его Мандельштамом в живописи, что судьба его, после того как вернулся в СССР, была трагичной, а я с удивлением обнаружил в альбоме «Турчанку» и «Автопортрет

в тубетейке», висевший у «старушки» на противоположной стене. Сказала, что на днях увидит Т. и покажет ему мои стихи, вновь повторила, что они достойны публикации, поучала, что очень важно публиковаться, мол, дорога ложка к обеду, а я, изобразив революционера, прочитал ей лекцию на тему «служить бы рад, прислуживаться тошно», она возражала: мол, искусство служит народу, а не власти, поэтому, чтоб до народа «дойти», надо уметь власть «обходить», а я ей: устанешь обходить, ну и т. д. Завершив чаепитие и воспользовавшись паузой в дискуссии, я вновь двинулся на штурм рыхлых высот, почти безнадежный, из принципа, на этот раз схватка была долгой и мучительной для обеих сторон, уже и кофточка у нее была расстегнута и одна грудь выпростана из своей лунки в обширном твердом бюстгальтере (вторая так и застряла), и юбка задрана выше пояса, и ноги намяты до синяков, и даже трусы покосились, но она не сдавалась, глухо и упорно боролась, пыхла: «Ты сумасшедший, перестань, перестань, ко мне должны прийти, не сейчас, не здесь...» Последние «аргументы» меня особенно возмутили: если «не здесь» и «не сейчас», то когда? В конце концов, органон не выдержал, тем более, что я все время терся об нее, пытаюсь таким образом расшевелить залежалую чувственность, и выплеснул драгоценный жизненный эликсир в холодные просторы Вселенной. И перед всеми пролил семя, так кажется, писал классик. В пролитии эликсира, конечно, не было ничего экстраординарного, сколько уж было пролито понапрасну,

буквально походя, но меня удивила ее, после всего, невозмутимость, деловитость и даже какая-то материнская заботливость: принесла полотенце, спросила, не хочу ли принять ванну. Я же был охвачен таким раздражением и омерзением к самому себе, что, кое-как приведя себя в порядок, удрал.

Вы думаете, на этом все кончилось? Отнюдь. Хотя, как я впоследствии убедился, если уж пошло у тебя с человеком, особенно с женщиной, вкривь и вкось, так и будет всегда, лучше судьбу не насиловать. Но именно этого рода отношения с судьбой я как раз и практиковал всю жизнь с маниакальным упорством. Судьба тебе: «нет», а ты все прешь и прешь на нее, все тянешь трусы вниз, все пытаешься втереться в доверие, зажечь, переломить... Вот и с Таней тоже все сложилось премерзко. К великому советскому скульптору я, конечно, зашел, Таня меня представила, мастер, он как раз собирался уходить, предложил мне попозировать ему для какой-то скульптурной группы, за деньги, чин-чинарем, расценки у него были соблазнительные, но я чего-то засмутился сдуру, сослался на занятость. «Подумайте, подумайте», – сказал он и убежал. Таня гостеприимно пригласила меня на обзорную экскурсию. Размеры студии, заставленной скульптурными работами, эскизами, материалами, меня поразили: огромный зал, залитый светом – полкрыши было из стекла – куча подсобных помещений со всякого рода поделками, копиями, учебными формами. Я приглядывался: где бы тут, и как бы этак с максимальной непосредственностью... и ко-

гда мы остановились в одной боковой комнате, где было что-то вроде кухни, а на полу валялась пара старых матрасов, я, разыгрывая решительность, хотя эта хладная дева больше злила меня, чем привлекала, обнял ее и полез целоваться, втайне надеясь, что меня презрительно отвергнут. Но Таня неожиданно проявила странную, при абсолютном равнодушии, податливость (вместе с какой-то «академической» заинтересованностью моей наготой, так что у меня даже возникло подозрение, что она таким макаром отбирает шефу натурщиков), и я, желая сбить с нее эту маску непричастности, которую принимал за спесивость, завалил анемичную мадонну на эти матрасы и воленс-ноленс завладел чужеродным телом. Кажется и для нее самой оно было не вполне родным. На все мои напыщенные старания она только что-то невнятное промывчала один раз, и, может быть! или мне показалось, лицо ее едва порозовело, будто холодный ветерок обжег щеки спящей красавицы. Я ушел просто взбешенный.

Зато цыганочка Мила позвонила мне сама. (У Зюса что ль телефон взяла? Зюс мне об этом не доложил.) Пригласила в кино, в кинотеатр «Варшавский», на «Зеркало». Я уже видел этот фильм, но пошел, все равно ничего в первый раз не понял. Тогда все говорили о «Зеркале», спорили и мы после фильма: она считала, что «поэтично», а я говорил: «выпендривается». В метро, в плотно набитом вагоне нас прижало друг к другу, я обнял ее, и мы всю дорогу целовались. «Хочешь зайти?» – спросила она у своего парадного. «Только

очень тихо, я не хочу чтобы...» Я на цыпочках пробрался в ее комнату.

– Кто-то пришел?! – громко спросила «старушка».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.